



В. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Коктебель Максимилиана Волошина

<Фрагменты>

<...>

Отшельническая жизнь, общение с местными жителями, с трудолюбивыми и угрюмыми болгарами-виноградарями из ближайшего селения, с садоводами-татарами Верхних и Нижних Отуз создали Волошину славу доброго, отзывчивого и мудрого человека. К нему каждый приходил за помощью, за советом. Жители окрестных горных деревушек почитали его чуть ли не за святого, видя его полнейшее бескорыстие, детскую наивность и простоту в общении с людьми. У него было много друзей в округе, начиная от греков-рыбаков, выезжавших в залив к утесам Карадага на ловлю кефали, и кончая старой феодосийской интеллигенцией, помнящей его школьные годы. Макса знали по всему побережью и улыбались от души при одном упоминании его имени.

Волошинский дом был верным пристанищем для всех странствующих энтузиастов Крыма, главным образом для начинающих художников и поэтов. Максимилиан Александрович всем оказывал гостеприимство и считал этот обычай одним из основных проявлений своего человеческого долга.

В 1920 году, в пору жесточайшей белогвардейской интервенции, он спрятал у себя коммунистов местного сельсовета и, мужественно вступая в пререкания с белыми офицерами, спас не одну жизнь. Укрывал он и крымских партизан. После восстановления Советской власти в Крыму Волошин получил от Советского правительства охранную грамоту на дом и прилегающий к нему участок земли¹.

Жилье Волошина в летние месяцы становилось обиталищем людей искусства, науки и литературы, связанных крепким дружеством с его хозяином. Дом постепенно обрастал пристройками, балконными галереями, флигельками, рассчитанными на то, чтобы там можно было жить и работать, не мешая друг другу. При всей своей пестроте это строение в целом являло черты несомненного архитектурного единства, хотя причудливостью своей больше походило на сооружение термитов или пчелиные соты, чем на обычную крымскую постройку. Испанский дво-

рик примыкал здесь к легкой галерее татарской сакли, скандинавская деревянная лестница вела в библиотеку и скромные комнаты, полные среднерусского усадебного уюта. Низкие, выбеленные известкой и крытые бурой черепицей постройки ничем не отличались от обычного жилья феодосийских и керченских греков-рыбаков.

Это была своеобразная коммуна художников, писателей и ученых, приезжавших со своими семьями в гости к Волошину. Все обитатели Дома поэта пользовались неограниченной свободой. Здесь каждый мог жить так, как ему заблагорассудится, соблюдая только единственный, раз навсегда установленный закон: ничем не мешать соседу. В вечерние часы, после работы, когда утомительно палящее солнце уходило за синие горы, а море отяжелялось густыми темно-фиолетовыми тонами, все сходились на длинной веранде за чайным столом, обычно покрытым щедрыми дарами коктебельской земли: тяжкими кистями местного винограда, грушами и сливами татарских садов, желтыми пахучими сотами русских пчеловодов из Старого Крыма.

И тогда начинались незабываемые беседы о поэзии, о путях и судьбах советской литературы, о русском и западном искусстве, о новейших достижениях науки. Писатели, художники, археологи, историки, астрономы, летчики-планеристы, агрономы, врачи — все пытались внести сюда свою крупицу накопленного опыта и знаний. Седые века перекликались с самой жгучей современностью, разные поколения и представители различных течений научной мысли скрещивали мечи в оживленном, всех захватывающем споре. И над всей этой разноголосицей страстно высказываемых мнений, сталкивающихся проблем, острых противоречий как примиряющее начало высилась благодушно-спокойная фигура М. А. Волошина. Тучный и коренастый, с загорелым крупным лицом, напоминающий не то Отриколийского Зевса², не то лесковского соборного протодьякона, в ореоле пушисто разлетающихся седых волос, перехваченных на лбу узенькой цветной тесьмой, восседал он в домотканой рубашке-хламиде в конце стола и неощутимо, но властно, как опытный возница, держал в руках бразды общей беседы. А когда подходила и его очередь, ослеплял и увлекал за собой притихших слушателей подлинным фейерверком блестяще отточенных парадоксов, смелых обобщений, окрыленных прогнозов и убедительных пристрастий. Глубокая внутренняя серьезность убеждений и легкое зачаровывающее лукавство мысли, умение повернуть привычную истину неожиданно и остро сверкнувшей гранью делали Максимилиана Александровича незабываемым собеседником. Русский, глубоко взрывающий целину ум, юношеская свежесть и чистота души соединялась в нем со смелостью и легкостью чисто галльского остроумия.

Исконно русский человек, он был вместе с тем и изысканным парижанином, в котором чувствовался посетитель монмартрских кабачков

и салона Анатоля Франса. Протопоп Аввакум и Франсуа Рабле равно были близки его душе. Величественное, чисто олимпийское спокойствие сдерживало жесты, придавало русскому округлому лицу подобие античных очертаний.

Гостеприимный Дом поэта около двадцати лет привлекал к себе многих выдающихся деятелей предреволюционной и молодой советской культуры. В советское время вырос рядом с волошинским жильем Дом творчества Союза писателей.

Кто только не побывал под волошинской кровлей! <...>

* * *

Я познакомился с М. А. Волошиным ранней весной 1926 года³... <...>

По своим прежним чисто читательским представлениям я ожидал увидеть изысканного парижанина, типичного француза, чуть ли не в цилиндре и с моноклем в левом глазу. Велико же было мое удивление, когда передо мной оказался невысокий, богатырского сложения человек с чисто русским лицом, с широкой дьяконской шевелюрой и густой, окладистой бородой — почти персонаж из пьесы Островского. Все в его облике дышало давней, чуть ли не допетровской Русью. И только изысканно построенная, несколько грацирующая речь, изящно-сдержанный жест да строгое профессорское пенсне выдавали в Волошине европейца, завсегдатая поэтических собраний и людных вернисажей. И еще больше поразил меня Максимилиан Александрович позднее, в родном ему Коктебеле. Здесь, среди степных поlynных холмов и диких скал побережья, он, облаченный в домотканую оранжевую хламиду, с обнаженной головой, с разлетающимися по ветру седоватыми кудрями под древнегреческой повязкой, с пастушеским посохом в руке, казался похожим на ясноглазого, примиренного с жизнью старца, бродячего рапсода гомеровских времен.

* * *

<...>

Кто-то из друзей назвал его «ходячим музеем всех блистательных человеческих заблуждений», — и в этом была своя доля правды. Волошин был человеком, честно пережившим увлечения своего века, одаренным благородным беспокойством мысли. Ярчайший представитель эстетического гуманизма, он родился на стыке двух эпох — испытующего разума и безотчетного чувства. Критическая переоценка ценностей, добытых предшествующими веками западного искусства и науки, по глубокому убеждению Волошина, принадлежит отныне русской культуре, так как

буржуазный западный мир зашел в безнадежный тупик эгоистических противоречий. По существу это не было новой мыслью, но Максимилиан Александрович считал ее все же недостаточно твердо усвоенной — и это питало пафос его полемических высказываний. А кому, как не Волошину, прошедшему сквозь все соблазны западничества, были известны «гангренические симптомы западноевропейского кризиса»?

У Волошина было немало литературных противников и даже врагов. Сам он своей необычайной наивностью в области общественно-политических проблем и несвоевременным, пережившим себя эстетизмом неоднократно давал повод к недоумениям и справедливым упрекам. Но что бы там ни было, его личность представляет значительный интерес и многое раскрывает в понимании того идеологического кризиса, который переживали лучшие представители русского дореволюционного искусства, смутно предчувствовавшие близость огромных социальных катастроф.

* * *

<...>

Все в доме М. А. Волошина было непривычно, начиная от внешнего вида этого, казалось бы, лишенного строительной логики жилища и кончая пестротой бытового обихода. Но странное дело, никого из живущих в нем не покидало чувство давней обжитости, уюта. Дом строился постепенно, собственными руками, и каждая его выбеленная, комнатка, каждая пристройка, наружная или внутренняя лесенка были обдуманы, пригнаны тщательно и любовно не только для себя, для своей семьи, но и для многочисленных друзей, приезжавших для отдыха и работы.

Более того — именно в этих приезжих и заключался весь смысл летнего существования для Максимилиана Александровича и его жены — неутомимой, вечно хлопочущей Марии Степановны. Гостеприимство их поистине не знало пределов. В желании получше, поудобнее устроить привычных обитателей они забывали себя. И, конечно, ни о какой «денежной компенсации» не могло быть и речи. Вся материальная база этого гостеприимства покоилась на коммунальных началах. Не без наивной гордости и некоторой запальчивости Волошин говорил иногда людям, мало его знавшим: «Я не собственник и не помещик. Я интеллигент-пролетарий, и дом мой — это общее достояние людей единой со мной веры, то есть искусства».

Он сам как нельзя больше походил на собственное жилище. Так же, как и в этом, всегда залитом солнцем доме, все было в его душе просто, удобно для входящих, создано собственными руками. Книги, картины, дружеская беседа и природа любимого Крыма составляли ее сущность. Выразительна была безграничная доброта Макса и человеческая от-

зывчивость на каждый вопрос, идущий от сердца. Он никого ничему не поучал, никому не предписывал этических законов, но его слушали как мудреца, хотя и был он только культурнейшим и тонким собеседником, много знавшим, много думавшим, много видевшим в жизни и щедро делившимся накопленными богатствами духа.

* * *

Последние два года жизни Максимилиан Александрович провел в неустанном борении с надвигавшейся на него болезнью. <...>

Помню, в день моего отъезда он чувствовал себя особенно плохо (астма мучила его всю ночь), но в минуту прощания, как ни отговаривал я его, собрал все свои силы и вышел меня проводить за ограду дома к станции почтового автобуса. Там, на сухой полынной тропинке, он обнял меня молча, и я в то же мгновение с необычайной остротой печали почувствовал, что это наша последняя встреча. Полтора месяца спустя в маленьком предгорном городишке Казахстана Аулие-Ата, разбирая почту, привезенную верховым на нашу геологическую базу, я распечатал узкий синеватый бланк телеграммы. Сухо и кратко она извещала о смерти М. А. Волошина 21 августа 1932 года. Я вышел из комнаты. Низкий потолок ее душил меня. Но не легче было и на улице, где шумели, качаясь под южным пыльным ветром, огромные пирамидальные тополя. Мутной оловянной волной грохотали бегущие с гор арыки. Минуя пропыленные сады, я скоро добрался до открытой степи. Там, оглушенный зноем и сухим треском кузнечиков, бродя по выжженным и колючим травам, я нес в себе тупое и безмолвное горе, огромное, как вся эта степь.

В последующие годы, привычно возвращаясь в Коктебель, в дом творчества Союза писателей, я не мог проходить без особенно щемящего чувства мимо волошинского дома. Заботливая и любящая рука Марии Степановны сохранила в нем всю обстановку, не переставив ни одной вещи. Поднимаясь из мастерской в верхний этаж, я ловил себя на мысли, что вот-вот увижу грузную спину Макса, склонившегося над своим рабочим столом, услышу его усталый, но всегда приветливый голос. Коктебель казался мне отныне телом, лишенным вдохновляющей его души, и не было пустынной тропы или одинокого холма, где не посещали бы меня горькие и вместе с тем пронизанные светом воспоминания. <...>

<1962>

